

А. Л. Тоом

НА ПУТИ К РЕФЛЕКСИВНОМУ АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

1. МНОГОКРАТНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ

Не требуется особенно большой скромности, чтобы признать, что человек не способен воспринимать вещи совершенно адекватно, такими, какие они есть, без каких-либо потерь, прибавлений, искажений. Наше восприятие, как Прокруст, укладывает все предметы на свое ложе, тем больше искажая их при этом, чем меньше различных идей имеется в его распоряжении. Не избегает общей участи и восприятие художественной литературы.

Случилось так, что мой Прокруст приобрел новый для себя круг идей и тем самым способен меньше калечить литературные произведения, чем он это делал прежде. Этими идеями и этой способностью я хочу здесь поделиться с читателем. Начнем с того, что рассмотрим три примера текстов, искажения в восприятии которых мы стремимся уменьшить.

1. — *Что, всегда весела?*

*Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.**

2. *Не от того ли де он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу?**

3. *Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; (...) Но приобретенный опыт полезен в том отношении, что дал мне оружие против общества:*

* Толстой Л. Н. Анна Каренина, — М.: Наука, 1970, с. 13.

** Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1976, т. 14.

если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня хоть будет средство отомстить: (...) Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; иначе сочтут, что я еще смешнее других; с вами же я говорю как с своей совестью, а потом, так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют дураки, — с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства*.

При всем своеобразии каждого отрывка, в них есть нечто общее. Чтобы описать это общее, мы воспользуемся общеизвестной аналогией человеческой психики с зеркалом, ее способностью к отражению. При этом возможны многократные отражения. Когда общаются два человека, (и когда рядом стоят два зеркала), каждый предмет может иметь не только два простейших отражения: в первом зеркале и во втором зеркале. Ведь отражение в первом зеркале, в свою очередь, может отразиться во втором, а отражение во втором может отразиться в первом. Эти отражения снова могут отразиться, и т. д. Именно это описывается в каждом из приведенных отрывков.

Так, в первом отрывке в душе девочки присутствует образ — отражение отца, в котором, в свою очередь, есть образ матери, огорченной, так как в ее образе имеется образ ссоры. Получаются как бы вложенные друг в друга матрешки. Их число на практике ограничено, но не так уже мало. Описанное нами отражение — тоекратно, так как ссора отражается, в матери, затем в отце, и затем в девочке. Отец *тотчас же понял это*, следовательно, все описанное отразилось в нем, т. е. возникло четырехкратное отражение. Мы пока игнорировали слова *он притворяется* и тот факт, что ссора сама содержит психологический аспект. Если мы примем то и другое во внимание, то наша система отражений еще более усложнится, но тут возникает неоднозначность, зависящая от того, как истолковать эти слова. Означает ли *он притворяется*, что в нем есть образ его самого, каким он хочет выглядеть, или что в нем есть образ девочки, видящей его таким, как он хочет, или еще что-то? Вообще, естественная речь никогда не поддает-

* Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1976, т. 4, с. 447—448. (Оригинал написан по-французски).

ся абсолютно точному и однозначному анализу, и данный случай не составляет исключения. Но поскольку в этой статье мы собираемся делать лишь качественные выводы, то некоторая неоднозначность, с которой мы будем еще сталкиваться, не будет непреодолимым препятствием.

Аналогичным образом можно разобрать и другие два отрывка. Не будем этого делать подробно. Заметим только, что, разбирая таким путем различные литературные произведения, мы сталкиваемся с практически неисчерпаемым богатством всевозможных явлений, и любая наперед заданная система понятий неспособна их охватить.

Так, второй отрывок демонстрирует нам способность психики содержать образы — «отражения», обусловленные не столько тем, что окружает человека, сколько им самим. Это как бы зеркало, на котором часть «отражения» нарисована и не зависит от отражающегося объекта. Могут быть зеркала, на которых нарисованы многократные «отражения».

Третий отрывок интересен тем, что в нем ясно виден процесс формирования образов-отражений: они надстраиваются друг за другом в порядке возрастания их многократности. Объем внимания автора и читателя экономится тем, что построенную структуру то и дело подытоживают емкие слова, такие как *опыт*, *хвостовство*. Это позволяет Лермонтову, сохраняя ясность мысли, построить исключительно многократные отражения.

Психика может отражать и самое себя, причем также неоднократно. Представьте себе несколько причудливо изогнутых зеркал, многократно отражающих самих себя, друг друга и окружающие предметы — и получится наглядный аналог рассматриваемого нами аспекта социальной действительности*.

Такие многократные отражения постоянно присутствуют и играют большую роль в жизни всех нормальных людей. Как и прочие психические события, они не поддаются объективному наблюдению. Поэтому огромную культурную ценность представляют литературные произведения, в которых закреплены такие образы-отражения и их структурные взаимоотношения. Но литера-

* См. развитый формальный аппарат в книге Лефевр В. Конфликтующие структуры. — М.: Сов. радио, 1973.

турное произведение живет полной жизнью только в восприятии его читателями. Как воспринимают читатели описания многократных психических отражений в литературе? Если судить по критическим и литературоведческим текстам, то создается впечатление, что многократные психические отражения почти полностью относятся к тем частям содержания, которые наши Прокрусты отрубают, чтобы втиснуть это содержание в ложе своих идей.

В этой статье мы будем говорить только о произведениях так называемой психологической прозы XIX века, содержащей много описаний многократных психических отражений. Не может быть, чтобы эти многочисленные описания не играли важной роли в общем замысле произведений. Цель данной статьи — прояснение этой роли.

2. ВЫБОР НАЗВАНИЯ

Восприятие вообще и восприятие литературного произведения в частности всегда есть органическое целое. К нему нельзя просто пристроить новую точку зрения, как нельзя пристроить карбюратор к телеге. В принципе, освоение каждой новой идеи перестраивает всю систему восприятия. В частности, включение многократных психических отражений в идейный обиход восприятия художественной литературы невозможно без борьбы.

Нам придется вступить в конфликт даже со сложившейся терминологией. Как нам называть это явление многократного психического отражения? Есть три кандидата в названия: *рефлексия*, *сознание* и *самосознание*, а можно придумать для этой цели совсем новое слово. Слово *самосознание* заведомо не годится, так как сама его конструкция указывает на отражение самого себя, а нам нужно слово, обозначающее отражения и себя и других. Слово *сознание* употребляется слишком уж широко и многозначно. Приняв его, нам пришлось бы назвать тот анализ литературы, к которому мы стремимся, — *сознательным анализом* или *анализом сознания*; и то и другое вызвало бы неверные толкования.

Слово *рефлексия* имеет два совершенно различных смысла. Один из них — 'размышление' — мы в этой статье полностью отбрасываем. Другой смысл — пример-

но то, что нам нужно. В этом смысле слово *рефлексия* часто употребляется в философской литературе. К сожалению, даже когда слово *рефлексия* употребляется в нужном нам смысле, под ним понимается обычно лишь однократное отражение самого себя. Но отражение может быть многократным, нелепо отказывать человеческой психике в такой естественной способности. А раз многократные отражения существуют, они нуждаются в названии. Это название должно охватывать отражения как себя, так и других, по следующим причинам. Во-первых, эти явления принципиально похожи. Во-вторых, многократные отражения могут получаться, отразившись поочередно в зеркалах себя и других. В-третьих, отражения себя и других тесно взаимодействуют: например, представление человека о себе во многом формируется на основе того, как его воспринимают другие, а понимание себя, в свою очередь, способствует пониманию других.

Итак, мы употребляем слово *рефлексия* в расширенном смысле, так как включаем в него всю сложную структуру многократных психических отражений себя и других. Всякое обладание психическими образами себя и других людей мы называем рефлексией, сами эти образы — рефлексивными образами, структуру этих образов — рефлексивной структурой, а анализ литературы, выявляющий рефлексивные структуры персонажей, — рефлексивным анализом.

3. ДРАМАТИЗМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ

Современная культура и современный язык навязывают каждому человеку некоторую рефлексию уже в силу простого употребления оборотов *я думаю, я считаю* и т. п. Рефлексию, навязанную человеку, получаемую им в готовом виде, назовем рефлексией из вторых рук. Бывает, что человек получает в готовом виде целые рефлексивные образы или структуры. Например, Дон Кихот воображал себя странствующим рыцарем, следовательно, имел какой-то образ самого себя, но этот образ был целиком вычитан им из романов. Ныне книги, театр, кино, телевидение снабжают нас готовыми образцами на все случаи жизни — и образцами не только поведения, но и душевной жизни. Конечно, каждый чело-

век вынужден получать очень многое из вторых рук. Однако человек, который живет одними готовыми ответами, душевно бесплоден.

Иное дело — самостоятельная рефлексия, когда человек сам строит рефлексивные образы в своей душе, напрягая свою наблюдательность, ум, талант, мужество. Самостоятельная рефлексия требует огромных душевных затрат и нередко причиняет мучения, но она является необходимым условием развития. Человек, способный к самостоятельной рефлексии, может духовно вырваться из окружающей среды.

Так, третий из приведенных выше отрывков демонстрирует ход самостоятельной рефлексии Лермонтова едва ли не в самом процессе писания письма. Из одного этого отрывка мы могли бы заключить о духовной независимости Лермонтова, если бы не знали о ней. Первый отрывок показывает независимость дочери от отца: девочка способна думать самостоятельно и заметить, что ее папа притворяется. Более того, она и морально независима от отца и не считает, что он всегда прав. Второй отрывок показывает напряженный поиск душевных контактов, характерный для подростков. Самостоятельная рефлексия смыкает с душевных зеркал нарисованные на них псевдоотражения и дает возможность углубленного контакта с собеседником.

Самостоятельная рефлексия в принципе позволяет человеку осознать любой закон, царящий над его душевным миром, и, в силу самого этого, нарушить этот закон. Иными словами, отражение — осознание самого себя есть предпосылка для целенаправленного изменения самого себя. Может показаться, что это так же невозможно, как поднять самого себя за волосы. Однако практика показывает, что человек может менять самого себя, и чем в большей степени он в этом успевает, тем выше уровень развития, которого он достигает. «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного (...), воспитанный на чиновничестве, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям (...), — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба», — писал в письме А. П. Чехов*, имея в виду писателей-разночинцев, в частности, самого себя.

Я только не согласен с Чеховым, когда он заявляет,

* Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956, т. 11, с. 330.

что писатели-дворяне не нуждались в чем-либо подобном. «Мое *comme il faut* состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. (...) Второе условие *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. (...). Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что ты там делал?» не будут в состоянии ответить иначе как: «*je fus un homme très comme il faut*».

Эта участь ожидала меня»*.

Конечно, Толстой стал тем, кем он стал, только благодаря тому, что «выдавливал» из себя прежнего и строил себя нового, свободного от сословных предрассудков, что не было бы возможно без самостоятельной рефлексии.

Необходимость самостоятельной рефлексии — лейтмотив творчества Достоевского. Вот одно из высказываний его героев: «Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок, и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!».**

Итак, осознание самого себя (в том числе своих норм, принципов, идеалов и т. п.) связано с возможностью изменить самого себя и в этом смысле со свободой особого рода. Но эта свобода имеет и свою оборотную сторону: она требует ответственности и творчества, подчас непосильных. Если человек достаточно полно осознает себя, то тем самым в нем возникает совершенно новый субъект, новое «я», а старое «я» теряет власть и превращается в объект мысли. Новое «я» не подчинено прежним идеалам, они для него тоже всего лишь объект мысли. Человек теперь вынужден выработать для себя новые идеалы, чтобы знать, что ему делать со своей жизнью. Поэтому осознание себя и связанная с этим свобода могут быть тяжким бременем, вынуждающим завидовать тем, у кого их нет: «Вы оба, ты и Боткин, не поняли моей зависти к скотам: я завидую не офицеру,

* Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.—Л., 1930, т. 2, с. 173—175.

** Достоевский Ф. М. Цит. соч., 1975, т. 13, с. 99.

который идет на бал к барышням, но офицеру, который без рефлексии, в полноте глупой природы своей, спешит на бал, где проведет вечер в *самозабвении*, — и я завидую, почему у меня нет способности не на бал ехать, а хоть стихотворение Пушкина прочесть без рефлексии, с *самозабвением*. . .»*. Известно, что Белинский за свою короткую жизнь успел пройти большой душевный путь — и это благодаря самостоятельной рефлексии. Без рефлексии он так бы и застрял на примирении с действительностью или ещё раньше — и не было бы того Белинского, которого мы знаем и ценим.

Время свободы, обретаемой в результате осознания себя, — это «переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет»** — было, видимо, так актуально для мыслящих людей России 1830—40-х годов, что именно его они часто называли рефлексией, заимствовав это слово из немецкой философии. Иницирующей широкое употребление этого слова в русском языке была, видимо, хорошо известная статья Белинского о «Герое нашего времени», где он писал: «скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. (...) как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует (...) — и благоуханный цвет чувства блекнет (...).

Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. (...) В мысли — независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений»***.

Под духом здесь понимается «абсолютный дух» Гегеля. Как известно, Белинский подчас воспринимал идеи Гегеля с наивным буквализмом. Так произошло и с рефлексией. У Гегеля рефлексия — осознание мировым духом себя и только себя, потому что кроме него ничего нет. Многократная же рефлексия, какую бы роль она ни играла у Гегеля (от специалистов я слышал проти-

* Белинский В. Г. Избранные письма в 2-х тт. — М.: ГИХЛ, 1955, т. 2, с. 46.

** Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978, т. 3, с. 134.

*** Белинский В. Г. Там же, с. 134—135.

воречивые мнения об этой роли), Белинским нигде не упоминается.

Начиная с Белинского, понятие рефлексии стало применяться к героям русской литературы, но, к сожалению, буквально как у Гегеля, как его понимал Белинский, то есть только как однократное осознание самого себя. Однако, литературный герой, как и живой человек, отличается от абсолютного духа тем, что живет в обществе, среди равных себе, и вступает с ними в сложнейшие взаимоотношения. Поэтому игнорирование многократных психических отражений и их системных взаимоотношений совершенно неприемлемо при описании богатой психической жизни многих и многих литературных героев, уже не говоря о реальных людях.

Неудивительно поэтому, что рефлексия, которая расцвела в произведениях Достоевского и Толстого, долгое время не замечалась как таковая. Говорились общие слова типа того, что Толстой — мастер психологического анализа, но в каких конструкциях производится этот анализ — об этом не говорилось. А бесструктурного анализа ведь не бывает!

4. СЛОВО РЕФЛЕКСИЯ КАК БРАННОЕ

Если берешь какой-то термин, какое-то слово на вооружение, следует разобраться в его значении, как оно сложилось исторически. Ведь не только мы владеем языком, но и язык владеет нами, управляет нами, обуславливает наши мысли. Человеку, нерефлектирующему над своим языком, кажется, будто он свободно думает, а в действительности ему приходит на ум то, что обусловлено контекстами, окружавшими его юность.

У большинства моих сверстников слово *рефлексия* ассоциируется с литературными образами «лишних людей», о которых говорилось в школе на уроках литературы, а эти «лишние люди» ассоциируются с «обломовщиной». Вот как выразился о них Добролюбов: «раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда», — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова».* Бытующее на этот счет представление можно

* Добролюбов Н. А. Собр. соч., В 9 т. М.—Л., 1962, т. 4, с. 321.

коротко выразить так: раньше общество было устроено неправильно, лучшим людям некуда было применить свои силы, они становились «лишними людьми», и у них возникала благородная болезнь — рефлексия, которая порождалась бездействием и сама порождала бездействие; теперь (это «теперь» длится с 1860-х годов по сегодняшний день) людям есть куда применить силы, лишних людей не может и не должно быть, и рефлексии тоже не может и не должно быть. «Рефлексия — это болезнь!» — твердила нам в школе учительница литературы.

Представление о рефлексии как о болезни, при всей своей уродливости, не возникло на пустом месте, а подготовлено выдающимися представителями русской литературы еще в XIX веке. Последнее утверждение, пожалуй, — самое важное, в этой статье. Чтобы полностью его обосновать, надо было бы написать целую историю русской литературы. Частичным обоснованием служит многое из материалов этой статьи. Но простейший аргумент читатель найдет в словарях русского языка, где примеры употребления слова *рефлексия* и слов, однокоренных с ним, пестрят выражениями *заела рефлексия*, *рефлекс заел*. Вот типичное высказывание: «Совершенно справедливо, что привычка только думать, а не делать, приучила интеллигента рефлексировать и «крутить мозгами». Шелгунов»*

Принимая на веру карикатурное представление о рефлексии, превращение этого слова в ругательство, авторы начинают уже спасать от обвинения в этой «болезни» своих любимых героев. Так, Владимир Рецептер в своей недавней книге, показав, что шекспировский Гамлет вовсе не бездействует, а наоборот, очень активен, заявил на этом основании, что у Гамлета не было никакой рефлексии**. При нашей трактовке, напротив, можно увидеть, что именно рефлексия позволяет Гамлету сказать «вы не можете играть на мне», то есть я — свободный человек, а не орудие, вы не можете манипулировать мной. И именно недостаток самостоятельной рефлексии у Лаэрта позволяет Клавдию сделать его своим орудием. Рецептеру, при всем его таланте, види-

* Словарь современного русского литературного языка.— М.—Л.: АН СССР, 1961, т. 12, с. 1263.

** Рецептер В. Письма от Гамлета. — Ташкент, 1977, с. 70—73.

мо, не хватило рефлексии, чтобы критически пересмотреть то, чему нас учили в школе: что герой не ведает сомнений.

Таким же образом Э. Г. Герштейн спасает Печорина: «Философские вопросы, затронутые им, вовсе не отмечены болезненной рефлексией (...) Это совсем не то, что «эгоистическая рефлексия» или «самокопание», останавливающие действительную жизнь, это — воспитание души»*. В том понятии рефлексии, которое бытует в нашей статье, воспитание души немыслимо без рефлексии.

Один из героев Достоевского, Егор Ильич Ростанев, тоже принимал без критики деградацию терминов в ругательства: он уверял, что «Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это все про него враги распустили»**. Право, это не так уж далеко от заявлений о том, что у Гамлета и Печорина не было рефлексии!

Вольтерьянец, фармазон, нигилист — это ругательства XIX века, а сколько новых появилось в XX веке! А на другом полюсе — сколько безоговорочно-восхваляющих слов, из которых лишь немногие — *цельность, убежденность, единство!*

Маленькие дети нуждаются в словах *бьяка* — все плохое — и *н-нака* — все хорошее, но печально, когда слова, выглядящие как научные термины, деградируют в своем значении до этого младенческого уровня. Мыслящие люди, к которым Эмма Герштейн и Владимир Рещептер безусловно относятся, должны бороться с этим нездоровым социальным явлением, а не мириться с ним. Ведь утверждать, что кому-то одному не присуща «эгоистическая рефлексия», — значит допускать, что вообще-то рефлексия — эгоистическая. Б. М. Эйхенбаум тоже не дал словосочетанию *эгоистическая рефлексия* должного отпора, когда писал: «Ю. Самарин, например, хотя и был дружен с Лермонтовым, позволил себе записать в своем дневнике от 31 июля 1842 г. (узнав о его гибели) следующие странные, но, видимо, распространённые тогда суждения: «[Он умер в ту минуту, как

* Герштейн Э. Г. Герой нашего времени М. Ю. Лермонтова. — М.: Худ. лит.-ра, 1976, с. 113.

** Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972, т. 3, с. 135.

друзья нетерпеливо от него ожидали нового произведения, которым он расплатился бы с Россией] (...). На нем лежит великий долг, его роман — «Герой нашего времени». Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих»*. Эйхенбаум здесь вступает за Лермонтова и его роман, но не за рефлексия.

На самом деле именно неразвитость рефлексии (здесь не говорится — отсутствие, потому что полного отсутствия рефлексии у нормального человека быть не может) обуславливает неспособность встать на чужую точку зрения, т. е. эгоцентризм, который на практике и приводит к поведению, характеризующему окружающими как «эгоизм».

Иногда слово, превращаясь в бранное, теряет свой прежний смысл. Например, слово *подлый* сегодня уже не значит «простонародный», как значило сотни лет назад. Но был период, когда слово *подлый* уже приобрело оценочное значение, но еще не потеряло прежнего, социального. Само его употребление в этом промежуточном состоянии выражало предрассудок, вельможную спесь. В подобном промежуточном состоянии ныне находится слово *рефлексия*. Оно не может утратить свое прежнее значение психического отражения хотя бы потому, что все словари толкуют его в этом значении — как «анализ своих мыслей и переживаний»** или вроде этого. И очень хорошо, что словари стоят на прежней, простоватой, но здоровой позиции. Если бы слово *рефлексия* утратило прежнее значение и стало бы обозначать несуществующее — эгоистическое заедающее чудовище, то получившийся фантом с наукообразным именем мог бы натворить бед.

Но и нынешнее положение со словом *рефлексия* не удовлетворительно, так как служит нечестному смешению смыслов. Поэтому я отвергаю все ругательства, связанные со словом *рефлексия*. Для меня рефлексия — одно из важнейших человеческих проявлений, как ум, воля, чувство и т. п. Все они иногда употребляются во

* Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. — М.—Л.: АН СССР, 1961, с. 283—284.

** Словарь современного русского литературного языка. — М.—Л.: АН СССР, 1961, т. 12, с. 63.

зло, но отказ от какого-то из них — отказ от бытия, частичное самоубийство.

Вообще, если какое-то слово превращается в бранное, то причина этого не в самом слове, а в его значении. На слово сваливают вину, как на стрелочника, его с позором изгоняют, на его место берут новое, а прежнее значение остается и начинает нагружать новое слово всеми теми же страстями, которые потопили старое. Так, деградация слова *рефлексия* в бранное связана с неприязнью к рефлексии, отталкиванием от нее, напоминаям холерный бунт своей направленностью против врача, а не против болезни. Привычные предрассудки уютнее, чем непрошенная критика.

Решающей, коренной причиной неприязни к рефлексии, отталкивания от нее мне представляется то, что рефлексия порождает свободу определенного рода, а свобода может быть тяжким и даже непосильным бременем. В этом смысле широко распространенное бегство от рефлексии аналогично «бегству от свободы», описанному Э. Фроммом*. Эта аналогия простирается и в социальную область.

Социальная сторона подавления рефлексии основана на отношении к человеку как к вещи. На человека влияют, вещь используют. В каждом человеке есть высший управляющий орган, который мы для краткости назовем идеалом этого человека. Представим себе, что от идеала идут наружу ниточки, как у марионетки. Кто сумеет ухватить за эти ниточки и с их помощью управлять идеалом человека, тот сможет манипулировать самим человеком. При этом объект манипуляции чувствует себя свободным, так как он беспрепятственно следует велениям своего идеала (или сердца, веры, убежденности, что то же самое). В нем нет внутреннего конфликта, раздвоенности, ни один его внутренний закон не нарушен. Он думает так, как ему думается, и действует так, как ему действуется. (Бык на корриде тоже действует так, как ему действуется).

Осознавая свой идеал, подвергая его критическому пересмотру, марионетка как бы ухватывает идущие к ней ниточки. Иными словами, акт осознания, происходящий в человеке, ломает закон его поведения. Конечно,

* Fromm E. *Escape from Freedom*. — New York a. o., 1941.

и после осознания человек подчинен какому-то новому закону, но, во-первых, заранее неизвестно — какому, а во-вторых, тогда и сам управляющий вынужден выработать более сложные методы управления, а это может быть ему не по силам. Напротив, человек, лишенный самостоятельной рефлексии (что часто называют цельностью, убежденностью и т. п.), есть идеальный объект манипуляции.

5. «ЦЕЛЬНОСТЬ»

Но продолжим описание образа мыслей наших оппонентов. Если рефлексия — болезнь, то что — здоровье? На это дается ответ: рефлексия — раздвоенность — болезнь, а здоровье — цельность. Положение со словом *цельность* похоже на положение со словом *рефлексия*, только в противоположном смысле. *Рефлексия* превратилась в бранное слово, поэтому большинство описаний рефлексии в литературе не замечается. Рефлексия считается связанной с мучительным, бесплодным бездействием, поэтому, когда она связана с действием, успехом, творчеством, развитием, она не признается как таковая. В противоположность этому, слово *цельность* в русской словесности употребляется всегда с одобрением.

Вот типичное высказывание: «Больше всего привлекает Добролюбова Катерина тем, что в своих поступках руководствуется не отвлеченными принципами, а «натурой», всем своим существом. Это — *цельный* характер. В цельности заключается его сила и его необходимость. (...) для борьбы вообще, а также для борьбы с самодурством в частности, нужна больше всего непосредственная цельность природы, непреклонная сила характера. Этим свойством, как известно, редко отличались герои других произведений русской художественной литературы. Добролюбов находил, что все они состоят в близком родстве с Обломовым. (...) Все мы, считающие себя образованными и воспитавшиеся на счет народа, более или менее подвергались нравственной порче и медленному умерщвлению душевных сил. Оттого все мы смахиваем на Обломова. Людям из народа чужд этот огромный недостаток (...) люди из народа цельнее нас — людей из привилегированных сословий; отто-

го они действуют там, где мы только рассуждаем. И это — их великое преимущество».*

Марксизм говорит нам, что личность человека обусловлена обществом. Процесс социализации, формирующий личность, в основном происходит в детстве. Пьеса А. Н. Островского «Гроза» прекрасно иллюстрирует эту мысль. Крайняя богобоязненность Катерины воспитана с детства. Неспособность осмысленно организовать свою жизнь, суеверный страх божьей кары, болезненная потребность в публичном покаянии и «несении креста» обуславливают ее поведение. И вот эти-то социально обусловленные черты личности Плеханов называет «непосредственной цельностью натуры!» — а еще считается марксистом. На самом деле «непосредственной цельности натуры» как изначального свойства человека вообще не существует, а то, что характеризуют в людях как «цельность», — это часто продукт своеобразного и, надо сказать, нездорового «авторитарного», воспитания, подавляющего рефлексию. Человек, страдающий от последствий такого воспитания, не может справиться даже со своими внутренними проблемами и вряд ли способен плодотворно бороться за что бы то ни было. Финал пьесы «Гроза» наглядно показывает, какая участь ждет этих несчастных. Хотя я и не согласен с цитированным выше высказыванием Г. В. Плеханова, но оно выполняет очень важную роль в данной статье, так как наглядно показывает, как тесно связано с жизнью толкование литературных произведений.

Терминология несколько эволюционирует, но новые термины перенимают значение старых. В последнее время широкое распространение получило слово *убежденность*, выполняющее примерно те же функции, что и *цельность*. Одна моя знакомая блестяще, как я считаю, подытожила мой спор с ней, сказав мне: «Для вас очень важно различие между правдой и ложью, а для меня эти понятия второстепенные; для меня главное — убежденность». Для XIX века было характерно выражение «непосредственное чувство», именно ему, не испорченному заедающей рефлексией, приписывали все хорошее.

Я уверен, что мне не укажут ни одного оригинального (т. е. не переведенного с другого языка) текста на

* Плеханов Г. В. Сочинения. М.—Л., 1927, т. XXIV, с. 56—57.

русском литературном языке, общедоступного и опубликованного в России или СССР раньше, чем эта статья, в котором слова *цельный человек, цельность, убежденность* употреблялись бы иначе, как с одобрением.

Убеждение в высоких достоинствах непосредственного чувства пронизывает и сегодняшнюю словесность. Согласно тому, что пишут и публикуют, если делается что-то хорошее, то непременно по велению сердца, а если что-то плохое, то — по расчету. В жизни же больше всего вреда приносит то, что делается без расчета, а добро можно делать только с умом. Часто пишут примерно так: «через всю свою жизнь NN пронес нерастратенную широту души, добрые чувства», и никто не пишет о нерастратенной узости души, злых чувствах. Если пишут слово *думается*, то за этим идет мысль, которую считают верной, хотя в действительности то, что людям *думается*, часто далеко от правды. Часто слово *думается* пишут даже без местоимения, подчеркивая этим безындивидуальность своей мысли. Писать так стало уже некоторой нормой, и редакторы часто заменяют *я* и даже *мы* в научных статьях безличным оборотом.

Под влиянием мифа о прекрасных качествах непосредственного чувства в литературе сконструирован искусственный, несуществующий в жизни тип цельного человека, полностью лишённого «заедающей» рефлексии. Наиболее совершенно в русской (а может быть и в мировой) литературе этот тип воплотил Л. Н. Толстой в образе Платона Каратаева, чьи «слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка»*. Все, что пишет Толстой о Каратаеве, очень настойчиво показывает отсутствие рефлексии. Сам Толстой склонен был относиться к Каратаеву как к своего рода идеалу, но честность Толстого привела к тому, что образ Каратаева дает нам наилучший материал для критики «цельных» людей. Без рефлексии невозможен душевный контакт между людьми. И действительно: «Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; (...) Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев (...) ни на ми-

* Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.—Л., 1933, т. 12, с. 51.

нугу не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву»*.

Заслуживают ли те тепленькие чувства, которые испытывал Каратаев и начинал испытывать Пьер, названия любви? Нет, и Толстой сам это тут же показывает. Общась с цельным Каратаевым, Пьер и сам становится цельным. Характерно черствое равнодушие Пьера в этом состоянии: «Он не видал и не слышал, как пристреливали отсталых пленных (...) Он не думал о Каратаеве, который (...) скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. (...) Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел»**.

Действительно, совесть (на что намекает и конструкция этого слова) невозможна без рефлексии. Поэтому, когда в иных случаях Толстой полагается на «непосредственное чувство» как на высокоморальное, он упускает из виду то, что сам же открыл в образах Пьера и Каратаева: «непосредственное чувство» — очень ненадежная основа для морали.

Я спрашивал своих знакомых, хорошее ли качество — «цельность». Одни, не задумываясь, говорили, что, конечно, хорошее. Другие начинали горячо меня убеждать, что цельность — это вовсе не обязательно хорошо, а может быть и очень плохо. Но лучше всех высказался М. Л. Шик, физиолог, изучающий кошек: «О существовании цельных людей я знаю из художественной литературы. В жизни же я не встречал не только цельных людей, но и цельных кошек». Настоящей цельности не бывает, я с этим согласен. Но бывает бегство от рефлексии в цельность, когда человек, не в силах вынести бремя свободы, сам накладывает на себя путы цельности. Это явление играет в нашей жизни важную роль и поэтому заслуживает пристального изучения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Материал статьи — русская проза XIX века — обусловил ее крен в сторону морально-этических вопросов.

* Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.—Л., 1933, т. 12, с. 50.

** Там же, с. 153, 155.

одробного обсуждения заслуживает также связь рефлексии с другими аспектами человеческой жизни. Скажем коротко о трех из них.

1. Рефлексия и познание. В статье мы обсуждали миф о высоких достоинствах непосредственного чувства. Один из аспектов этого мифа — представление о непогрешимой правде непосредственного чувства, о том, что наивный наблюдатель безошибочно воспринимает окружающий мир «таким, каков он есть», безо всяких прибавлений и искажений. Поскольку искусство — это, помимо прочего, одна из форм познания, на упомянутом мифе основана концепция «реализма», как простого копирования действительности. Рефлексию, поскольку она преломляет непосредственность, этот миф трактует как искажение действительности или уход от нее. (Такая трактовка выражена в статье «Рефлексия» в БСЭ, 1955)*. В действительности неограниченное познание возможно только при неограниченной рефлексии. Всякая остановка в рефлексивном развитии приводит к абсолютизации какой-то точки зрения и присущих этой точке зрения субъективных моментов. Так, развитие науки требует усложнения ее рефлексивного аппарата. Например, в понятийном аппарате теории относительности и квантовой механики необходимы наблюдатели, а современный математик уже не считает свои аксиомы самоочевидными.

2. Рефлексия и действие. Из всех аспектов мифа о высоких достоинствах непосредственного чувства наиболее укоренилось представление о том, что успешно действуют только цельные натуры, а рефлексия якобы делает человека бесплодным на действия. Цельные люди, действительно, много действуют, но, если и успешно, то не в свою пользу, а в пользу тех, кто ими манипулирует. Цельный Лаэрт становится орудием Клавдия, а Гамлету именно его conscience — сознание, которое он вначале несправедливо упрекает, помогает одержать победу.

На самом деле рефлексии соответствует в мире действий не бездействие, а, наоборот, организационная инициатива, предприимчивость. Например, призыв к рефлексии — центральная мысль известной книги Дэйла

* Большая Советская Энциклопедия 1955, т. 36, с. 423.

Карнеги*. Основной ее совет: не рвись напролом к тому, что нужно тебе, исходя из твоих предвзятых идей, а старайся понять окружающих людей и думай сначала о том, что нужно им, — и тогда ты преуспеешь в жизни. С сочувствием там цитируются слова поэта Браунинга: «Когда в человеке начинается внутренняя борьба, он чего-то да стоит» (с. 34). Конечно, эта книга отражает дух своего времени и места, но именно в этом качестве она здесь и цитируется. Дух высказывания Браунинга и всей книги Карнеги противоположен духу высказываний, цитированных выше, где рефлексия всячески ругалась.

Поскольку рефлексия необходима для социальной организации, она должна играть большую роль во всех социальных науках и, в частности, в теории игр. См. на эту тему статьи автора** и цитированные в них работы. В первой из этих статей описывается довольно искусственная ситуация «монополии слова», где только один из участников игры имеет право слова и вследствие этого получает определенные выгоды. Однако из текста статьи видно, что такое сильное требование там не нужно, так как фактически речь идет о «монополии организации», при которой все участники, кроме одного, лишены возможности организационной инициативы. Это будет обеспечено, например, если все они — «цельные» платоны каратаевы. Внутренняя неприязнь к рефлексии с успехом заменяет внешний запрет на инициативу.

3. Рефлексия и юмор. Путаница с понятием рефлексии привела к тому, что она воспринимается как что-то нудное и непонятное, не имеющее отношения к нашей жизни. Юмор же, напротив, часто столь же ошибочно воспринимается как что-то мелкое, несущественное. Это маскирует связь между рефлексией и юмором, очень глубокую. Мольеровский Журдэн не знал, что говорит прозой. Подобно этому, наш современник, рассказывая анекдот, обычно не знает, что предлагает своим слушателям упражнение в рефлексии. И дело тут не только в том, что многие анекдоты имеют сложную рефлексивную структуру, а и в том, что смех вообще освобождает

* Carnegie D. How to win friends and influence people. — New York, 1940.

** Семиотика и информатика, 1976, вып. 7, с. 112—127; 1978, вып. 10, с. 133—141.

ет в том же смысле, что и рефлексия. Поэтому непризнание рефлексии, как и юмора, коррелирует с общим развитием ханжества в обществе и литературе. От писателей требуется дерзость, чтобы описывать рефлексию, а от читателей — чтобы прочесть то, что написано.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я вижу перед собой читателя, который не без интереса прочел эту статью и спрашивает: ну а дальше что? Как сказано выше, эта статья — только начало. За ней последуют опыты рефлексивного анализа конкретных литературных произведений. Речь идет в первую очередь о русской психологической прозе XIX века. Я надеюсь, что эти опыты помогут вычитать из произведений то, что в них есть, вместо того, чтобы вчитывать в них то, что в них «должно» быть.

Слова любого языка можно уподобить «ассигнациям», ценность которым придает «золотой запас» — осмысленные и талантливые тексты на этом языке. Поэтому более здоровое понимание классической художественной литературы послужит достоинству нашего языка, насыщению его смыслом и очищению от наукообразных ругательств.

В современной психологии очень остро стоит вопрос — в каких понятиях описывать психику человека? Попытки выработать такие понятия в отрыве от общей культуры бесплодны. Весьма уместно предложить черпать эти понятия из художественной литературы, накопившей ценнейшие средства описания людей и их взаимоотношений. Среди этих средств видное место занимают рефлексивные описания. Поэтому внедрение многократных рефлексивных образов в понятийный аппарат психологии способствует ее сближению с общей культурой, с жизнью.

* *
*

Обычно идеи развиваются вначале неформально и лишь затем получают строгое математическое оформление. В моем случае было не так: решающим толчком к написанию этой статьи было знакомство с языком рефлексивных многочленов В. Лефевра. Вторым толчком было знакомство с идеями Э. Фромма.
